

Елена Трубина. «Город в теории»

ТРУБИНА Е. ГОРОД В ТЕОРИИ. М.: НЛО, 2011. 520 с. ISBN 9785867938239

*Дарья Хлевнюк**

Аннотация. Известный отечественный урбанист Елена Трубина опубликовала книгу, посвященную разбору наиболее важных теорий города. От классической теории Зиммеля к новейшим глобализационным теориям, от экологического к экономическому подходу — автор представила исследования города во всем их разнообразии.

Ключевые слова. Елена Трубина, город, урбанистика, социология города, социология пространства.

Коллеги в Санкт-Петербурге жалуются: «Совершенно невозможно работать — почти каждый день где-нибудь проходит то семинар, то мастер-класс, то лекция про город, городское пространство, урбанистику». В журнале «Афиша» появляется статья: «Мини-бум книг по урбанистике»¹, в которой авторы обращают внимание на то, что за первые три месяца этого года одна за другой вышли три книги по исследованию города. Две из них — переводы зарубежных писателей (Р. Вучик «Транспорт в городах, удобных для жизни» и Дж. Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов»). Третья — книга Елены Трубиной «Город в теории» — написана на основе курса по урбанистике, который автор читает довольно давно. Отечественному читателю известны её эмпирические работы, в том числе исследование ментальных карт, опубликованное в сборнике «Визуальная антропология: карты памяти города». В книге «Город в теории» рассматриваются различные теории города: от макро- до микро-, от экономических до культурологических.

Исследования городов — область междисциплинарная, в которой различные подходы и парадигмы переплетаются в самых разнообразных сочетаниях. Задачей книги, говорит автор, является методологическая рефлексия по поводу этих подходов и парадигм. Впрочем, «Город в теории» — это, скорее, попытка картографирования разнообразных урбанистических теорий: их описание и выявление связей между ними. Книга действительно представляет методологическую ценность, но, скорее, не как рефлексия по поводу разнообразных подходов, а как реконструкция содержащихся в них аргументов, обзор инструментария.

* **Хлевнюк Дарья Олеговна** — MA in Sociology, стажер-исследователь Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ, d.khlevnjuk@gmail.com

Работа выполнена при поддержке программы «Научный фонд ГУ-ВШЭ», коллективный исследовательский проект «Учитель–ученики» 10-04-0005 «Человек и публичное пространство в современной Москве: исследование культурных трансформаций (на примере Государственного музея-заповедника Царицыно)».

© Хлевнюк Д., 2011

© Центр фундаментальной социологии, 2011

1. Данилкин Л., Грозный П. Мини-бум книг по урбанистике (<http://www.afisha.ru/article/9012/>).

Автор выделяет несколько групп исследований города. Вначале она различает классические и неклассические теории города, а затем членит их в соответствии с содержательными и дисциплинарными критериями (экология города, его экономика, повседневность в городе и т. д.), наконец, читателю предлагается обзор метафор города. Теории скрупулезно анализируются, приводятся примеры из фильмов и повседневного опыта (чаще всего — жителей Екатеринбурга) и фотографии. Все это делает анализ теорий более доступным и понятным.

В первой главе Е. Г. Трубина рассматривает классические теории, прежде всего работы Г. Зиммеля, причём не только его теорию города, но и взгляды социолога на изучение города в контексте общих идей об устройстве и функционировании общественных форм. Звания классиков достаиваются и представители Чикагской школы. А вот Вебер и французская школа почему-то не попадают в список классических исследователей города. С этим можно поспорить, например, французский автор К. Топалов в своей лекции во Французском колледже при МГУ наряду с Чикагской школой назвал классиками в этой области Вебера и Хальбвакса. Фигура Вебера в книге Трубиной не появляется даже в главе, посвященной городу как месту экономической деятельности, возможно, потому, что ее внимание в большей степени привлекает город современный.

Под неклассическими теориями, речь о которых идёт во второй главе, автор понимает постколониальные, феминистские исследования и Лос-анджелесскую школу. Постколониальные исследования по своему характеру конструктивистские. Их представители обостряют оппозицию колонизаторов и колонизируемых, фиксируют различия в пространственной организации городов. Обычно объектами изучения оказываются города в бывших колониях (например, в Индии) или крупные многонациональные города (к примеру, Нью-Йорк или Лондон). Феминистские исследователи обращают внимание на гендерные различия жителей города. В их работах поднимаются вопросы свободы и безопасности женщины в городе, взаимосвязи гендерных и классовых различий. Более подробно Трубина рассматривает Лос-анджелесскую школу урбанистов. Они предположили, что Лос-Анджелес является архетипическим городом конца XX века, обгоняющим многие города в развитии, а потому здесь можно обнаружить принципиальные тенденции развития городов. Впрочем, в отличие от Чикагской школы, Лос-анджелесскую можно назвать школой лишь с большой натяжкой, она менее структурирована, и связи между ее членами намного слабее. Однако их объединяет интерес к Лос-Анджелесу и общие принципы исследования, в том числе процессов реструктуризации. Автор подробно рассматривает работы трех представителей этой школы: М. Дэвиса, Э. Соджи и Ф. Джеймисона.

В третьей главе «Город и природа» автор объединяет несколько разных направлений — от представления города как экосистемы до акторно-сетевой теории. Города и природа — одна из оппозиций из постоянно воспроизводимого противопоставления общества и природы. По мнению Трубиной, взаимосвязь города и природы не так однозначна, как кажется. С одной стороны, действительно, город как символ цивилизации противопоставлен природе. С другой же — «создание города возможно было только за счет соединения человеческих и нечеловеческих (природных) ресурсов» (с. 135). Вопрос об экологии города затрагивается несколько поверхностно — Трубина упо-

минает о городе как экосистеме и об экологическом впечатлении, который города оставляют в окружающей среде, а также об экологической устойчивости города, тогда как круг соответствующих проблем намного шире. Автор вскользь описывает идеи социоэкологии и городской природы и переходит к, по-видимому, более интересной для нее акторно-сетевой теории. В книге подчеркивается, что город — это не только специфическая среда, в том числе и природная, но и техническая и материальная (с. 154). Трубина особенно увлекается описанием жизни микробов в городской среде, будучи, очевидно, вдохновлена известным исследованием Латура.

Далее рассматривается другой кластер городских теорий, изучающих новую мобильность и потоки передвижений в городской среде. Начинает автор с городского транспорта. Основными фигурами оказываются В. Кристаллер, Э. Ульман, Т. Харт и Р. Фогельсон. Трубина описывает, как географы и городские историки прослеживали изменения транспортных сетей и их влияние на пространство и развитие городов. Затем речь заходит о связи транспортных сетей и политической мобилизации. Основным является тезис: «Доступность для людей со скромными средствами общественного транспорта — важное проявление социальной справедливости» (с. 180), в подтверждение которого описываются несколько случаев политической борьбы вокруг доступности общественного транспорта.

Классический представитель теории городского пространства — А. Лефевр. Именно он предложил отказаться от метафоры контейнера в понимании пространства. Отталкиваясь от физической теории Ф. Хойла, Лефевр в своих работах развивает идею нестатичного пространства, связанного с опытом людей, проживающих в нем, с историей. Поэтому современные (модерные, как предпочитает называть их Трубина) города отражают смену ритмов и приоритетов в социальной жизни. Рост популярности и значимости автомобилей отражается в том числе и в изменении функции городских улиц: вместо мест встречи горожан улицы стали местами хранения и использования автомобилей (с. 187). Сюжет скорости как особой категории, ценность которой возросла в современном мире, рассматривается в книге на примере работ П. Вирильо. Он анализирует городские временные ритмы, используя категории пространства: плотность, сложность и разнородность (с. 194). Все эти концепции — предтечи появления теории новых мобильностей, разрабатываемой Дж. Урри. Впрочем, Урри — далеко не единственный социальный исследователь, рассматривающий социальную жизнь как мобильную и текучую, как сеть потоков. В этом смысле Урри стоит в одном ряду с Т. Ингольдом и Л. Малки, а также с Ж. Делёзом и Ф. Гваттари, критикующими седентаризм (с. 197). Глава заканчивается обзором методов исследования мобильности городских жителей: наблюдения, «интервью на ходу», дневники и т. д.

Одна из причин появления новых типов мобильности — экономическое развитие городов. Города, с одной стороны, продукты экономического развития, с другой — его агенты. Урбанистическая теория, пишет Трубина, в основном интересовалась связью города и капитализма. Начало здесь было положено К. Марксом и Ф. Энгельсом. Несмотря на то, что Маркс не изучал собственно пространство, в котором развивается капитализм, его исследования имеют принципиальное значение потому что капиталистическое общество — в первую очередь, общество городское (с. 222). Ра-

боты Энгельса ближе к урбанистике, и Трубина даже называет его предтечей городской антропологии и социальной географии (с. 223). В наше время это направление в городских исследованиях представлено Д. Харви, который изучает «связь между деньгами, временем и пространством как основу процесса урбанизации» (с. 231). Капиталистический город — не только пространство для экономических операций, но и объект потребления. Харви пишет о купле-продаже городской земли как о *комодификации* пространства (т. е. превращении пространства в товар) и анализирует капиталистическую урбанизацию, связанную, в первую очередь, с рынком городской земли и классовой стратификацией в городе.

Что касается столь важной темы, как город и культура, то здесь автора интересует символическая экономика. Это понятие ввела Ш. Зукин, которая занималась исследованием богемных районов Нью-Йорка и других пространств в Манхэттене, где пересекаются экономика и культура. В этом же тренде работают урбанисты, изучающие производство культурных продуктов и креативные индустрии в городах.

Рассматривая теории глобализации, Трубина пишет, что в изучении влияния глобализации на развитие городов урбанистика соединяется с международной политической экономией и анализом мировых систем (с. 270). Основное внимание она уделяет теориям мировых и глобальных городов П. Холла, Дж. Фридмана и С. Сассен². Трубина называет и претензии, предъявляемые этим теориям: доминирование экономической логики в описании мировых городов (Э. Кинг), слабая эмпирическая база (П. Тейлор), игнорирование последствий изменений масштаба протекающих в городах экономических процессов (Н. Смит). От критики глобализации автор переходит к описанию важного феномена *джентрификации*. Она начинается с короткого кейса — джентрификации в Москве, на котором ясно видны механизмы смены престижности окраинных и центральных районов города. Но это лишь локальный пример мирового тренда. Н. Смит, главный теоретик джентрификации, показывает ее глобальность, за которой стоят не столько культурные, сколько экономические процессы. Джентрификация способствует расслоению общества, поскольку означает образование особого пространства для богатых жителей городов (с. 305). Обратная сторона глобализации состоит в том, что, когда все города так связаны между собой, становится крайне важно обозначить их различия. Для городской политики — это курс на брендинг и маркетинг города.

Существуют две модели управления городом: элитарная и плюралистская. Элитарную подробно рассмотрел Ф. Хантер, изучавший Атланту 1940–1950-х годов, другую охарактеризовал в своей работе Р. Даль, исследовавший Нью-Хейвен. По его мнению, элитарная модель осталась в прошлом, а в XX веке города перешли к модели плюралистской (с. 319). Вопрос о том, кто принимает решения, плавно был переформулирован в вопрос, какие решения и зачем принимаются. Так появилась идея, что «город — машина роста» (с. 321). Имеется в виду «коалиция элит, нацеленная на извлечение прибыли из городской земли и всего, что на ней возведено» (с. 322). Трубина подробно разбирает идеи Харви Молоча, который вывел эту формулу в 1970-е годы. Городская политика анализируется также в рамках теории городских режимов, в ко-

2. Рефераты сборника статей под редакцией С. Сассен «Расшифровывая глобальное» см. в: [Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1.](#)

торой рассматриваются не только формальные, но и неформальные практики принятия и исполнения решений. Эту теорию К. Стоун развивает на примере все той же Атланты 1946–1988-х годов. Д. Джад и П. Кантор выделили четыре цикла развития режимов в США. Представители другого направления, которое Трубина называет институциональными теориями, отстаивают тезис о том, что «в центре городской политики — формальные политические институты города» (с. 328). Ещё один кластер исследований — теории городского управления, которые рассматривают сети партнерств, вовлеченные в принятия решений. Согласно всем этим теориям, города представляют собой замкнутые системы, в которых принятие решений имеет свою, особую логику. Однако если изменить масштаб, становится понятно, что городская политика — лишь часть глобальных процессов. Трубина возвращается к идее выстраивания имиджа города, более подробно описывая *имиджиниринг* — концепцию, придуманную географом Ч. Рутгейзером (с. 346). Но город — пространство не только для решений элит, но и для социальных движений, митингов, протестов. Главным теоретиком концепции городских социальных движений является М. Кастельс.

Тема следующей главы, определяемая как «социальные и культурные различия в городе», по сути, уже раскрывалась в предыдущих разделах книги. Разве не о различиях городских жителей и пространств, не о миграциях и переездах, не о социальном неравенстве рассуждала автор, рассматривая городские теории? Но в этой главе подробнее описываются те урбанистические теории, в которых особое внимание уделяется разнообразию в городском пространстве. В первую очередь это разнообразие городских слоев, о котором пишет Л. Уирт. Но также — и разнообразие городского физического пространства, разнообразие как принцип городского планирования, к которому призывает Дж. Джекобс. Кроме того, здесь затрагивается проблема «Другого». В наши дни «Другой» — это и жители пригородов, которых исследовал Г. Ганс, и иммигранты и бедные. Наибольший интерес у автора вызывает проблема российских мигрантов. И, пожалуй, здесь единственный раз Трубина всерьез говорит о работах российских коллег, в остальных разделах речь идет в основном о трудах западных ученых.

От общих проблем городского пространства и встроенности города в глобальную среду автор переходит на уровень микроанализа, микросоциологии, социологии повседневности. Амбивалентность городской повседневности (с. 412) связана со сложным соотношением видимого и невидимого в городе, спокойствия, заданного развитыми городскими инфраструктурами, и страха перед неожиданными событиями. Одним из первых исследователей городской повседневности, вероятно, можно считать В. Беньямина. Появление фланерства было возможно только в городском пространстве, это особый тип поведения в городе, который, кроме всего прочего, делает заметным городской ландшафт. Автор вновь возвращается к идеям А. Лефевра, который предлагал рассматривать городскую жизнь именно с точки зрения ее повседневного характера. М. де Серто ближе по своим идеям к ситуационистам, ему интересны креативность и массовые движения, способы противостояния подавлению большого капиталистического города, для него большое значение имеют практики освоения пространства, «пространственные практики». Трубина отмечает, что здесь важен «поворот к языку», когда «не только городская реальность уже истолкована,

представая перед нами в тех или иных вариантах языковой репрезентации, но и чтение и речь выступают фундаментальными операциями городского существования» (с. 432). В книге рассматривается и критика идей де Серто. Например, М. Моррис обращает внимание на то, что его взгляд слишком универсален, так что повседневное в таком дискурсе оказывается банально обычным. Сама же теория кажется Моррису слишком абстрактной. Другой, более жесткий критик де Серто Н. Трифт отстаивает тезис о том, что нельзя заниматься исключительно культурными репрезентациями и идти от языка, а следует изучать действия человеческих и нечеловеческих акторов. Теория де Серто, по его мнению, слишком завязана на исследовании человека в городе, тогда как город — это не просто совокупность людей.

Последняя глава посвящена метафорам города. Трубина предлагает рассмотреть несколько таких метафор, обозначенных П. Лангером: базар, джунгли, организм и машина. В работе Амина и Трифта представлен другой набор метафор города, но автор выбирает типологию Лангера, хотя все метафоры в ней предполагают, что город — это в первую очередь сообщество людей. То есть в основании лежит именно та предпосылка, которую критиковал Трифт. Е. Г. Трубина не только описывает эти метафоры, но и рассматривает, как они работают в дискурсах по поводу российских городов, какие именно метафоры и в каких дискурсах задействованы. Общий вывод автора, впрочем, представляется нам довольно сомнительным. По мнению Е. Г. Трубиной, раз мы встречаем одни и те же метафоры и в урбанистическом, и в популярном дискурсах, это свидетельствует о том, что метафорика классической урбанистики захватывает популярный дискурс. Между тем метафоры являются дотеоретическими основаниями знания о мире, которые изначально могут разделяться членами сообщества, поэтому доказать здесь преимущество простым сопоставлением вряд ли возможно.

Подводя итог, заметим, что в России практически не пишут хороших учебников по социологии. Часто говорят, что наша дисциплина, дескать, потому и в кризисе, что «учить не по чему». Книга Е. Г. Трубиной «Город в теории» — итог многолетней работы над авторским курсом по урбанистике. Это путеводитель по теориям города, который может быть полезен как тем, кто только начинает заниматься урбанистикой, так и тем, кто уже сделал первые шаги в этой сфере. Возможно, логика изложения и выбора того или иного исследователя не всегда ясна, но Трубина предупреждает, что отбор производился в соответствии с ее личными представлениями о важности, актуальности и содержательности теорий. Можно с этим выбором не соглашаться, но можно ему и довериться. Вероятно, впервые за последние несколько лет в России вышла действительно хорошая обобщающая работа по не слишком развитой у нас, хотя и довольно популярной дисциплине, к тому же написанная чётким и понятным языком.

Музей мышления под открытым небом: дескриптивный анализ Эрика Ливингстона

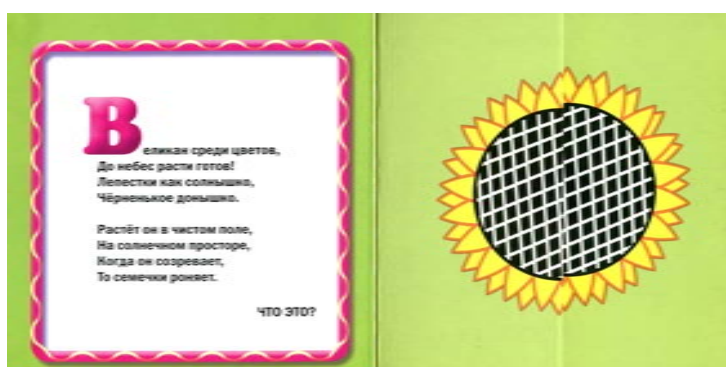
LIVINGSTON E. ETHNOGRAPHIES OF REASON. ALDERSHOT: ASHGATE, 2008. 270 P. ISBN 9780754671060

Андрей Корбут*

Аннотация. В статье, на основе книги Эрика Ливингстона «Этнографии мышления», рассматривается проблема дескриптивного анализа. Дескриптивный анализ понимается как такой способ описания феноменов социального порядка, который предполагает постоянное сопоставление предлагаемого описания с реальными практиками в актуальных ситуациях деятельности. Это означает, что социологическое описание должно быть инструктивным по своему характеру, т. е. обучать читателя анализу производства обыденности и наблюдаемости социальных практик. Такой взгляд позволяет делать предметом социологического анализа даже такие непривычные для социологического взгляда вещи, как игра в шашки или оригами.

Ключевые слова. Дескриптивный анализ, социологическое описание, Эрик Ливингстон, этнография, этнометодология, повседневность.

Передо мной лежит книга Эрика Ливингстона «Этнографии мышления». Когда-то я попытался написать на нее рецензию. Настоящую, со всеми полагающимися элементами: обзором содержания, изложением идей, рассмотрением контекста, критикой. Но чем больше я писал, тем сильнее становилось ощущение, что я что-то упускаю. Да, эту книгу *можно* читать так, как мы читаем прочие книги. Но *работает* она совершенно иначе. Как? Если я просто опишу, как это происходит, я напишу очередную рецензию и опять упущу саму книгу. Поэтому я начну по-другому: с примера (и я не знаю, куда он меня приведет). Этим примером будет детская книга с названием «Что это? Загадки с сюрпризом» (М.: ЭКСМО, 2010). В книге 7 загадок, каждая из которых представлена в следующем виде:



* Корбут Андрей Михайлович — научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ, korbut.andrei@gmail.com

© Корбут А., 2011

© Центр фундаментальной социологии, 2011

Слева — текст загадки, заканчивающийся вопросом «ЧТО ЭТО?»; справа — «изображение» загадки, половина которого находится на откидывающемся вправо клапане. Разгадка находится на обратной стороне клапана.



Чтобы узнать разгадку, необходимо отвернуть клапан, за которым скрывается изображение этого предмета и на развороте которого написано название загаданного предмета.

Разгадывание этих загадок — не столь уж тривиальная задача. Точнее, она тривиальна, однако действия, которые необходимо совершить, чтобы она была тривиальной, не столь очевидны, как это может показаться, когда мы берем в руки детскую книгу. Начать с того, что «загадка» в данном случае — это результат определенной работы с книгой. С одной стороны, загадкой является текст, напечатанный слева. Однако изображение справа — тоже загадка. Открывая разворот, читатель видит текст и картинку, которые должны вместе восприниматься как загадка. Между текстом и картинкой должен быть установлен знак равенства. Такое уравнивание достигается тем, что, открывая разворот и видя клапан, на котором размещена часть изображения, читатель может догадаться, что разгадка находится именно там, в невидимой сейчас части книги. Собственно, разгадке больше негде быть. Текст загадки, являющийся таковым, поскольку он заканчивается вопросом «ЧТО ЭТО?», и изображение загадки, оказывающееся таковым, поскольку оно очевидно *не* является разгадкой, оказываются в результате частями одной загадки. В то же время отношения текста и изображения — это не просто отношения «загадочности», но отношения «конкретной загадочности», воплощенной в *так* сформулированной загадке. По двум причинам. Во-первых, текст загадки предполагает, что отгадкой является некий предмет, который больше негде искать, как в изображении. Текст является описанием некоторого предмета, а разгадка — изображением этого предмета. Читатель видит, что справа изображен *некий* предмет, однако его невозможно идентифицировать. Во-вторых, загадка-изображение *не* является разгадкой, потому что на ней не изображен *собственно* предмет. В некоторых из 7 загадок это проявляется более явно, в некоторых — менее, однако видно, что дизайнер книги сделал изображение справа по возможности «абстрактным» (но исходя из того, что в дальнейшем это же изображение должно стать частью разгадки, которая должна быть как раз конкретной), т. е. лишенным идентифицирующих предмет характеристик. В приведенной иллюстрации

до открытия клапана мы видим лишь круг, окаймленный желтыми «лепестками» и заполненный черными ромбами. Разгадка — это тот же самый круг, однако уже с прикрепленным к нему зеленым стеблем. *Теперь* понятно, *что* было загадано: подсолнух. То, что изображение справа нельзя идентифицировать без отворачивания клапана (хотя в некоторых случаях это возможно), тоже делает текст и изображение справа (при закрытом клапане) частями одной загадки.

Но «загадка» — это не только то, что видит перед собой читатель. Это также разворачивающаяся последовательность действий. Хотя в книге нет открытых подсказок относительно того, в какой очередности необходимо совершать действия, последовательность ясна: прочитать текст загадки (кто бы его ни читал и как бы его ни читали: вслух или про себя) → высказать догадку → открыть разгадку. С практической точки зрения разгадывание загадки заключается в ответе на вопрос «что это?» и дальнейшем сопоставлении сформулированного ответа с открывшейся картинкой и надписью, а не в угадывании того, что скрыто под клапаном. Средний элемент указанной последовательности действий («высказать догадку») не «предписан» открыто, однако без него разгадывание загадки невозможно: читатель должен сформулировать ответ, чтобы его предыдущие и последующие действия составляли последовательность разгадывания, но в то же время этот ответ является неотъемлемым элементом обращения с так устроенной материальной книгой. Без действий читателя материальные особенности книги становятся бессмысленными. «Абстрактное» изображение справа, являющееся одновременно частью загадки и частью разгадки, становится таковым в процессе манипуляции с книгой: ее чтения, разглядывания и открывания клапана. Разворачивающаяся последовательность действий составляет контекст работы чтения, демонстрирующей материально- и материалоспецифические ситуационные особенности. Поэтому текст и изображение загадки являются *полным* описанием последовательности действий с данной конкретной книгой. Они инструктивны. Никаких других инструкций не требуется.

Итак, у нас есть пример. Я начал свое обсуждение с примера и взял в качестве примера детскую книгу по нескольким причинам.

Во-первых, мне было интересно, как читаются детские книги. Я до сих пор не задумывался, как это происходит. Чтение детских книг как самостоятельная область исследования — столь же интересный и плодотворный предмет, как и любой другой. Прочитав одну детскую книгу и кратко описав то, как я ее читал, я стал кое-что понимать в детских книгах. Наверняка не всё и наверняка в дальнейшем мое понимание будет меняться, но в первом приближении я начал понимать, в чем состоит специфический для детских книг (возможно, не для всех) способ чтения. Этот способ чтения сам по себе может быть предметом дальнейшего изучения.

Во-вторых, я пошел в книжный и купил детскую книгу, потому что я хотел посмотреть, можно ли использовать книгу Эрика Ливингстона как инструкцию для нахождения интересных предметов для изучения. В книге Ливингстона три части. Первая посвящена описанию конкретных примеров и упражнений, вторая — способам их изучения и описания, третья — темам, возникающим при их изучении и описании. Мне было любопытно, можно ли использовать такое деление в качестве исследовательской схемы. Выше я предложил *описание* чтения детской книги. Ниже я

буду обсуждать то, как такое описание создается (то есть описание как *технику исследования*), и то, как такое описание может концептуализироваться (то есть описание как *способ анализа*).

В-третьих, я взял в качестве примера детскую книгу, поскольку в ней, как и в книге Ливингстона и даже более отчетливо, становится видно, каким образом работа читателя по обнаружению реальных феноменов порядка в реальных ситуациях действия является неотъемлемым элементом чтения описаний этих феноменов. Детская книга — хорошая *практическая аналогия* (термин самого Ливингстона [р. 187]) книги Ливингстона, проясняющая практику чтения последней. Мне данная аналогия помогает понять, как читается книга Ливингстона. Я не хочу сказать, что книга Ливингстона читается *точно так же*. Однако между детской книгой и его книгой есть множество интересных сходств.

Наконец, в-четвертых, я начал с примера, потому что только так, на мой взгляд, нужно читать книгу Ливингстона: как руководство по нахождению и описанию реальных обыденных практик. И ее нужно *так* читать не только потому, что *такова* сама его книга, но и потому, что его книга посвящена тому, каким образом *этнография*, т. е. описание локальных феноменов социального порядка, производимых и поддерживаемых некоторыми общностями людей, связана с этнографически описываемыми *практиками*. Я буду в дальнейшем называть способ прояснения и проблематизации этой связки *дескриптивным анализом* (тоже термин Ливингстона [р. 124]).

Итак, мы имеем пример. С его помощью я описал обыденную форму мышления, которую можно найти в детской книжке-загадке и которая предполагает владение определенным навыком и его применение в актуальной ситуации чтения. Все взрослые (включая меня), которые читали эту книгу, не испытывали затруднений в определении того, что с ней нужно делать, т. е. как нужно разгадывать предложенные в ней загадки. Эта форма мышления специфична для многих детских книжек. Но этот пример позволяет так же сформулировать ряд тем, которые могут стать «зонтичными» при анализе других форм мышления, например, тему последовательности действий и того, как мы определяем, в каком порядке что-то делать. Или тему социальности описанной формы мышления. Наконец, этот пример позволяет понять уникальность книги Ливингстона. Будучи академической социологической работой, его книга в то же время приближается по своему формату к детской, поскольку для нее принципиально важно, что именно будет делать читатель, чтобы ее читать. Мы привыкли читать социологические книги. Или лучше так: мы привыкли *читать* социологические книги. Мы не привыкли с ними что-то *делать*. Даже если это книга по методам, нам все равно нужно ее сначала прочитать, а потом действовать. (Или сначала что-то сделать, а потом прочитать.) Но книга, с которой нужно что-то делать, *чтобы* ее читать, кажется детской: именно детские книги нужно заучивать наизусть, слушать, трогать, проговаривать по слогам, разрезать, раскрашивать, играть с ними, что-то в них вклеивать. Поэтому социологическая книга, автор которой предлагает любым способом скопировать одну из страниц, чтобы потом ее можно было разрезать на части (р. 34), бросает вызов: мы должны заново обрести доверие к книге, но уже на других основаниях, не на основании простого чтения. Такая книга целенаправленно помещается в контекст работы, не сводимой к пробеганию глазами по строкам и рассматриванию

рисунков и фотографий. Мы должны буквально что-то *сделать*, чтобы понять, о чем пишет автор.

«Этнографии мышления» именно такова: она полна «заданий», которые должны быть *реально* выполнены. Поэтому в ней можно встретить такое предупреждение: «Прежде чем читать мое обсуждение, вы должны сами попытаться решить загадку [здесь: танграм-задачу]. Сумеете ли вы реально решить загадку с квадратным танграмом, не важно; важна лишь серьезная попытка» (р. 33). Читатель должен *всерьез* попытаться решить предложенную задачу. Каков бы ни был результат. И таких задач множество. Читать «Этнографии мышления» без ножниц, линейки, циркуля и бумаги невозможно.

Но эта книжка уникальна не только тем, что она предъявляет особые требования к читателю. Она также ставит вопрос о том, не являются ли подобные требования обязательной частью социологического описания. Именно в ответе на этот вопрос книга Эрика Ливингстона демонстрирует свою необычность. Проясняя, какого рода социологическое описание может предъявлять *практические* требования к читателю и в чем эти требования могут состоять, Ливингстон изобретает новый жанр социологических исследований: дескриптивный анализ. Здесь может возникнуть вопрос: и что в этом нового? Социология полна описаний. И в некоторых случаях авторы описаний претендуют на то, что их описания являются аналитическими, т. е. не просто отражающими те практики, которые они описывают, но показывающими их строение, истоки, значение и т. д. Однако описания, собранные в книге Ливингстона, носят иной характер. Я попробую указать, в чем состоит их своеобразие и, соответственно, в чем заключается дескриптивный анализ.

Прежде всего его описания *детальны*. Это не было бы отличительной особенностью его анализа, если бы описываемые им детали не были своего рода самодетализациями тех практик, которые он изучает. Это принципиальный момент: описания Ливингстона являются *детальными*, но не являются *детализациями*, в том смысле, что он не исходит из некоего (обыденного или социологического) образа практики, которая должна быть *затем* рассмотрена в подробностях. Каждая практика, которую описывает Ливингстон, *собирается* из деталей, и основанием ее сборки являются не социологические генерализации, а материалоспецифические способы действия. Решение танграм-задач, проведение психологического эксперимента, собирание пазла, игра в шашки, складывание оригами-фигур, упражнение со стеклянной призмой, решение геометрических задач при помощи циркуля и линейки, решение задач из учебника по химии, проведение физического эксперимента — все эти и многие другие предметы описания, само перечисление которых представляет непростую задачу, являются для Ливингстона объектами, которые он рассматривает в деталях, *производимых* данными практиками. Поскольку все эти практики наблюдаемы, их наблюдаемость заключается в их способности производить такие детали, которые для самих участников практики будут свидетельствовать об успешности их действий и в производстве которых их деятельность и будет заключаться. Следовательно, в дескриптивном анализе детали — это всегда *конкретные* детали, специфичные для данной практики.

Но, как ни парадоксально это не прозвучит, для описания самих деталей описания деталей недостаточно. Я имею в виду следующее. Во-первых, исследователь, описывающий детали, делает *аналитическую* работу, и его работа не может заключаться в описании всех деталей, поскольку это невозможно. Это невозможно не потому, что аналитику приходится выбирать масштаб детализации, а потому, что любая практика способна производить бесконечное количество деталей. Следовательно, вопрос о полноте описания можно снять с обсуждения, признав, что полное описание невозможно. Тогда зачем описывать детали? Более того, зачем их описывать *только их*? Ответ состоит в том, что как можно тщательнее описывая детали, исследователь анализирует ту форму мышления или рассуждения, те «навыки», как называет их Ливингстон, которые составляют практику, деталями которой являются данные детали. Эта форма мышления не кроется «за» деталями, поскольку в противном случае мы могли бы сказать (в духе Хомского), что несмотря на бесконечность потенциальных деталей конкретного «исполнения», можно выявить некоторый набор «правил», обеспечивающих это исполнение, и поставить перед собой цель описать эти правила, приводя детали их применения лишь как *иллюстрации* данных правил. Напротив, для дескриптивного аналитика каждая форма мышления *заключается* в производимых ею деталях. Идеалу библиотечной картотеки, основанной на ограниченном числе элементов кодификации единиц хранения, в дескриптивном анализе противопоставляется реальность самих единиц хранения. Библиотекари часто сталкиваются с тем, что попадающие к ним книги (например) «не идеальны»: в них может быть не указан ISBN, могут быть сложности с определением издательства, может быть не указан год выпуска или автор и т. д. То, когда, кем и как была издана книга, является практическим контекстом, в котором обретают смысл детали этой книги и реконструкция которого позволяет выполнить формальную задачу каталогизации книги. Но библиотекарь не имеет доступа к этому контексту. Он видит перед собой лишь книгу, которую нужно описать. То же самое можно сказать о конкретных социальных практиках: социолог, пытающийся выработать набор критериев описания практики, сталкивается с их постоянной «неидеальностью». Он полагает, что эта «неидеальность» принципиально исправима и восполнима (посредством выработанных в социологии методов исследования) и что поэтому практики могут быть в конечном итоге реконструированы. Однако такая реконструируемость практик является *социологической* реконструируемостью. Если условием описания практики является применение социологической методологии, то мы не описываем саму практику, поскольку практика *закключается* в способах самоописания, не поддающихся методологической каталогизации. Описание практики всегда будет локальным, специфическим для данной практики, поскольку мы не просто имеем доступ к локальным практикам, которые объясняют особенность реальных действий, но сами эти практики являются способами производства объяснимости составляющих их действий. Следовательно, картотека форм мышления невозможна. Мы можем лишь создать «музей мышления», как называет его Ливингстон (р. 266). И этот музей возможен лишь как музей под открытым небом, потому что его экспонаты слишком *велики* для любого помещения, которое мы можем для него отвести, а также потому, что это музей *естественных* практик, неразрывно связанных с естественными ситуациями их

осуществления, со своей естественной средой обитания. Такого рода музей может располагаться где угодно и что угодно может стать его экспонатом. Ничто не может быть достаточно тривиальным для него. Более того, в некотором роде это музей разных форм тривиализации, которые встречаются в обыденной жизни. Например, мы можем представить в этом музее (как это сделал я) такую тривиальную вещь, как детская книжка. Задача подобного представления будет состоять не в поиске нетривиального смысла в тривиальной вещи, а в демонстрации специфического, уникального для данной книжки способа производства тривиальности. Здесь мы сталкиваемся со второй особенностью дескриптивного анализа, поскольку понять специфическую тривиальность детской книги мы можем лишь одним путем: взяв детскую книгу и попытавшись *всерьез* отгадывать загадки, которые в ней загадываются. Эту вторую ключевую черту дескриптивного анализа можно назвать его *педагогичностью* или *инструктивностью*. Речь идет о следующем.

Чтение детальных описаний, которые можно найти в книге Ливингстона, предполагает *обучение* тем практикам, которые в ней описываются. Обучение здесь носит особый, праксеологический характер: оно должно осуществляться как *реальное действие в реальном мире*. Книга Ливингстона — не учебник и не инструкция. Даже если он заимствует задачи из учебника по шашкам, его цель — не научить читателя играть в шашки, а инструктивно описать игру в шашки, что значит — описать ее таким образом, чтобы это описание мог использовать играющий в шашки человек для инструктивного описания игры в шашки. Предметом внимания Ливингстона выступают «отличительные и идиосинкразические особенности мышления при игре в шашки, все специфическое и потенциально уникальное для рассуждений, связанных с расчерченной в клетку доской» (р. 19). А проанализировать это можно, только реально играя в шашки. Таким образом, описания, которые предлагает Ливингстон, должны читаться лишь в связке с опытом тех практик, которые он описывает. И этот опыт не может быть только опытом чтения описаний данных практик. Это должен быть опыт их осуществления. Значит ли это, что человек, который никогда не играл в шашки или не складывал оригами, не поймет такое описание? Да. Но он способен *научиться* соответствующей практике, читая описание. Педагогичность описания при этом будет заключаться в том, что:

1) Не существует «общих принципов», которые следует вычленивать из описания и затем применить к новым ситуациям. Мы учимся, не перенося некоторый набор навыков из ситуации в ситуацию. Каждый навык специфичен для конкретной области и неотделим от материальных деталей, и поэтому мы в некотором смысле должны всегда учиться заново. Мы учимся от случая к случаю. Нет даже некоего «родного языка», знание которого является условием понимания инструкций и описаний. Мы учимся языку заново как определенной локальной практике, специфичной для той или иной области рассуждения и действия.

2) Описание предполагает опыт, т. е. мы должны постоянно соотносить получаемые инструкции и описания с совершаемыми нами действиями, с практикой. Что такое «опыт»? В случае танграм опыт — это манипуляции с фрагментами, позволяющие сделать их одновременно предметом и инструментом мышления. С помощью этих фрагментов мы решаем задачу их конфигурирования. Иными словами, мы ста-

новимся «опытными», когда для нас «мышление предметом» (*reasoning by tangrams*) и «мышление о предмете» (*reasoning about tangrams*) совпадают. Опыт — это прояснение материальных свойств мира (включая наше тело), соответствующих реализуемой практике, плюс прояснение практики, соответствующей этим свойствам.

3) Кроме того, опыт — это то, что *делается*. Это «сделанная», праксеологическая вещь. Иногда делание не дает ничего, никаких результатов. Но это ничего не меняет. Ливингстон постоянно подчеркивает, что главное — само усилие, *серьезная* попытка. Не важно, будет ли она успешной. И не нужно делать упражнения, чтобы что-то «понять». Надо делать всерьез. Надо делать оригами, чтобы сделать оригами, даже если у нас ничего не получится. Не надо делать оригами «эстетично». Или как нечто «поучительное». Главное — делать, т. е. совершать последовательность действий, которая обладает наблюдаемыми характеристиками реального складывания оригами.

4) Важно, чтобы чтение описания и практику осуществлял *сам* читатель. Но в то же время такой персональный опыт — это опыт коллективный, поскольку овладение навыком игры в шашки или складывания танграм — это овладение коллективно разделяемым навыком, который позволяет не только мне обучаться у других тому, как играть, но и другим оценивать мою игру как игру в шашки, а не во что-то другое. Поэтому описываемые Ливингстоном его персональные действия потенциально *могут* быть поняты читателем, но только тем читателем, который всерьез играет в шашки. Детали осуществления могут различаться; практика при этом остается той же самой наблюдаемо компетентной практикой. Чтобы понимать Ливингстона, мы должны обладать с ним разделяемой *практической* коллективностью. Если я новичок, эта коллективность должна быть выстроена. Но это в любом случае коллективность упорядоченного действия, а не «консенсуса», «коммуникации», «мотивов», «правил».

5) Поскольку упорядоченность практик — это *наблюдаемая* (иначе бы она не могла быть коллективной) упорядоченность, описание в рамках дескриптивного анализа не должно делать практики наблюдаемыми, скорее, оно должно отвечать на вопрос: что мы наблюдаем, когда наблюдаем практику? Что мы наблюдаем, когда наблюдаем пересечение перекрестка потоком машин? Человек, стоящий на тротуаре, может наблюдать поток машин и некоторым образом описывать то, что он видит. Если он сам является водителем, то его описание будет *принципиально* компетентным. Но оно будет лишь частично *локально* компетентным, поскольку полностью локально компетентное описание может предоставить лишь тот, кто находится в этот момент в машине. Однако даже описание, сформулированное сидящим за рулем водителем, не может быть полным, поскольку сколь бы детальным оно ни было, наиболее полным описанием наблюдаемых черт ситуации являются сами его действия, причем они являются таковым не только для него, но и для других водителей, которые рассматривают его действия как описание той ситуации, которая в этих действиях состоит.

В свете последних рассуждений возникает вопрос: зачем создавать текстуальные описания практик, если действия в конкретной ситуации сами по себе уже являются описаниями? Дело в том, что попытка, как говорит Ливингстон, «точного описания» (р. 157) — это и есть собственно *анализ*. Действия, которые предпринимаются в реальных ситуациях жизни, — это описания, служащие практическим целям и потому поддающиеся оценке с точки зрения их точности, адекватности, полноты, до-

статочности, удовлетворительности и пр. Описания, которые создает исследователь, не могут оцениваться точно таким же образом. Они являются лишь *приближениями*, которые открывают перед нами детали изучаемой практики. Иными словами, они являются способом погружения в самую гущу актуальных деталей, и потому изначально ущербны без реального опыта производства этих деталей. Погружение в гущу деталей, выявление все новых и новых аспектов изучаемой практики, попытка максимально точного их описания, корректировка получающегося описания — в этом и заключается анализ, который можно сформулировать в качестве исследовательской задачи. Дескриптивный анализ — это не движение ко все более точному и полному описанию. Напротив, это практика анализа посредством описания, с одновременным пониманием невозможности получения точного и полного описания, которая (невозможность) заменяется реальным опытом действия. Описание становится анализом в той мере, в какой оно *не* соответствует предмету описания. Это несоответствие является продуктивным несоответствием, направляющим наш взгляд на детали самой практики. Недостатки описания обращают наше внимание на особенности осуществления практики. Следовательно, музей мышления под открытым небом — это музей, экспонатами которого являются сами посетители: естественные, материально- и материалоспецифические навыки и формы рассуждения. В этом музее нужно что-то делать, т. е. создавать экспонаты собственными действиями. Поэтому это в буквальном смысле музей естествознания: музей естественных форм знания и знания о естественных формах мышления.

Теперь вернемся к примеру, с которого я начал: детской книжке. Все взрослые, которые в моем присутствии брали ее в руки, легко понимали, что им нужно делать, и почти без проблем (за исключением загадки о луне, изображение которой при закрытом клапане было очень похоже на солнце) определяли, что загадано, не читая текст загадки и не открывая клапан. Сказать, что такая легкость объясняется тем, что книга детская, — значит не сказать ничего о том, в чем заключается эта легкость, т. е. что делает с этой книжкой читатель, независимо от того, взрослый он или ребенок. Дескриптивный анализ практики чтения этой книжки, который я начал выше, позволил бы понять, как эта легкость достигается в качестве естественного результата и одновременно способа действия. При этом описание было бы постоянно самодетализирующимся. Например, описав то, как я читал эту книжку, я понял, что почти ничего не сказал о тексте загадки. Это явное упущение, которое показывает направление дальнейших поисков. Но то, что оно стало явным, является следствием моих усилий по описанию того, как я *всерьез* читал детскую книжку: открывал загадку, читал текст, придумывал отгадку, открывал клапан, читал и рассматривал разгадку, открывал следующую загадку и т. д. Тот, кто будет потом читать мое описание, может и должен сопоставить его со своим опытом чтения детских книг. Ему не обязательно читать ту же самую книгу, что читал я. Он может взять другую детскую книгу. Однако мое описание будет служить полезным приближением, отталкиваясь от которого, он может начать читать и описывать *свою* книгу. Мое и его описания могут не совпадать, но их совпадение или несовпадение — это не столько вопрос разности исходных материалов или разности наших взглядов, сколько вопрос постоянного и

недостижимого сближения описания с описываемым, т. е. живой практикой в реальных обстоятельствах деятельности.

Таким образом, дескриптивный анализ — это не обычное аналитическое описание. Он особым образом инструктивен: он не говорит, как нужно действовать, чтобы осуществлять практику, но при этом говорит, как практика осуществляется. Такое описание не дается легко, поскольку описывать самые обыденные вещи на свете — а именно они становятся предметом анализа — значит вырабатывать такой язык описания, который бы схватывал естественную описуемость практик. Это не может быть аналитический социологический язык, поскольку в этом языке не проводится граница между описанием деталей действия и деталями самого действия. И язык такого описания будет неизбежно создавать проблемы для читателя, поскольку он фиксирует и воплощает принципиальное расхождение между естественностью совершаемого действия и естественностью предлагаемого описания. Дескриптивный анализ, следовательно, идет в связке с конкретной практикой и имеет смысл только там, где эта практика осуществляется. Зачем тогда дескриптивный анализ? Краткий ответ: чтобы сделать данную практику *интересной*, показав ее обыденность. Длинный ответ: чтобы показать, как *производится и поддерживается* обыденность социального действия. Нанизывать в описании деталь на деталь не имеет особого смысла. Важно иное — «открывать обыденность областеспецифического действия как *производимую обыденность*» (р. 225). Поэтому дескриптивный анализ — это «открывающая наука»: он предполагает постоянное открытие изучаемой практики как конкретного порядка, наблюдаемого в деталях его осуществления.

Разумеется, для любого социолога, который читает книгу, подобную книге Ливингстона, главный вопрос: что в этом социального? Если относиться к этому вопросу без иронии (например, его можно было бы прочитать так: а почему эта книга не похожа на книгу по социологии?), то ответ на него заключается в различении социологии *скрытого социального порядка* и социологии *наблюдаемого социального порядка*. В первой социологии порядок объясняет особенности практик и скрыт за ними, а потому должен быть еще выявлен социологическими методами, так как сама практика не может сделать этот порядок наблюдаемым. Более того, она скрывает его. Именно таково в большинстве случаев понимание «повседневности» в так называемой социологии повседневности: объявляя повседневность непроблематичной, прагматически ориентированной и само собой разумеющейся, социолог скрытого порядка перечисляет те особенности социальных практик, которые, оповседневниваясь, становятся невидимы для глаз самих участников этих практик. Социолог наблюдаемого социального порядка исходит из того, что порядок заключается в наблюдаемых особенностях практик. Чтение детской книжки и разгадывание кроссворда являются социальными практиками, поскольку они представляют собой наблюдаемо упорядоченные области действия и мышления. Их наблюдаемость не является *свойством* совершаемых действий, которое нужно выявить. Их наблюдаемость — результат и способ этих действий. В этом смысле даже такие, казалось бы, совершенно неподходящие для социологического исследования практики, как оригами, являются областями, в которых наблюдаемым образом производится и поддерживается социальный порядок. Это «мирские», рутинные практики (Ливингстон называет их «*midenic*» [р. 39], т. е. «сре-

динные», реализующиеся здесь и сейчас, «среди вещей» и неотделимо от этих вещей), овладение которыми и осуществление которых являются от начала и до конца социальными. Если нас как социологов интересует производство обыденности действий, то это производство может изучаться в любой области: не только там, где люди стоят в очереди, но и там, где человек собирает пазл. Заслуга книги Ливингстона заключается в открытии этого факта и в демонстрации его важности для социологии. Дескриптивный анализ в этом смысле — не дополнение к стандартным социологическим методам, а новая дисциплина, обнаруживающая свой предмет там, где стандартные социологические методы не видят предмета не только для изучения, но и для разговора. Ливингстон находит этот предмет, находит его объективным и интересным, и поэтому создаваемый им музей мышления, который теперь может пополняться любым желающим, не имеет стен, он функционирует всюду, где никакое человеческое действие не может стать слишком тривиальным.